

Natalya Fox

**Дневник
потерянных
дней**



Natalya Fox

Дневник потерянных дней

«Автор»

2026

Фох Н.

Дневник потерянных дней / Н. Фох — «Автор», 2026

«Дневник потерянных дней» — это документальный роман-реквием о любви, которая оказалась сильнее радиации. Апрель 1986 года. Припять. Молодой инженер Аркадий Кравченко чувствует, что реактор гудит нештатно. Он пишет дневник, фиксирует вибрацию, предупреждает начальство — его не слушают. Его жена Ирина мечтает о ребёнке, покупает белую коляску с кружевами и верит, что суббота станет счастливым днём. Суббота не наступила. Взрыв разлучает их навсегда. Аркадий умирает в московской больнице, так и не дождавшись писем от жены. Ирина ищет его двадцать лет, пишет письма в никуда, растит дочь и умирает от рака, вызванного радиацией. Их внучка Алиса через сорок лет находит коробку с дневниками и отправляется по следам несостоявшейся любви. В этой книге — подлинные дневники, письма, архивные документы. Это история о том, как молчали власти, как ждали женщины и как любовь не умирает даже после смерти.

© Фох Н., 2026

© Автор, 2026

Natalya Fox

Дневник потерянных дней

Примечание автора

Эта книга основана на реальных событиях и документах. Однако дневники Аркадия и Ирины являются художественной реконструкцией, созданной на основе свидетельств, архивных материалов и семейных преданий. Технические детали (в частности, описание вибрации реактора) не имеют прямого документального подтверждения и основаны на рассказах выживших операторов. Имена некоторых персонажей изменены. Все совпадения с реальными людьми, ныне живущими или умершими, случайны.

Уровни радиации и время эвакуации приведены с учётом официальных данных, но в отдельных сценах допущены художественные отступления. Автор не претендует на абсолютную историческую точность, но стремился передать эмоциональную правду тех дней.

Пролог

Киев, 2025 год

Коробку я нашла через месяц после маминой смерти. Картонная, перевязана верёвкой. На крышке — мамин почерк: *«Ирина Кравченко, лично. Не вскрывать до моей смерти»*.

Я не искала. Просто залезла в шкаф за пылесосом — она лежала на верхней полке, за стопкой белья. Такое бывает только в фильмах и в дешёвых романах. Но это была реальность.

Верёвка истлела. Я потянула — она лопнула. Коробка открылась со скрипом. Внутри — две тетради, письма, фотография. И запах сухих цветов и пыли.

Я сидела на полу и тупо боялась. Не того, что найду что-то страшное. А того, что не готова к маминой смерти. Соседка снизу сказала бы: «Выкинь всё, не мучайся». Но я не выкинула. Позвонила подруге Оксане. Та ответила: «Ты с ума сошла? Читай».

Читала всю ночь. Под утро знала почти всё: как они познакомились, как он пропал, как она двадцать лет ждала и писала письма в никуда.

У бабушки был рак щитовидной железы — последствия катастрофы. Она умерла за несколько месяцев до моего рождения. Деда я не видела никогда. Он не был моим биологическим дедом — но для меня он дед.

Достаю фотографию: они у Дворца культуры «Энергетик», молодые, счастливые. Смотрю и думаю: любовь не умирает? Не знаю. Но я решила найти его могилу. Узнать правду. Потому что иначе зачем я это нашла?

Я ничего не выдумываю. Только соединяю. Они не получили писем друг друга при жизни. Может, после смерти получили. Хочется в это верить. А если нет — ну, хотя бы книга останется.

Алиса Кравченко

Киев, 2025 год

Глава 1

Аркадий

22 апреля 1986 года, вторник, вечер

Дневник Аркадия Кравченко найден в коробке вместе с письмами. Некоторые страницы исписаны карандашом, некоторые — чернилами. Почерк меняется: ровный в начале, стано-

вится рваным, торопливым к последним дням. Видно, что он переписывал некоторые записи позже — вероятно, уже после взрыва, в больнице, по памяти и черновикам. Я сохранила всё как есть, включая пропуски и неразборчивые места.

Сажусь за стол, время около полуночи. За окном — апрельская сырость. Снег сошёл на прошлой неделе, обнажив пожухлую траву и прошлогодние листья, которые ветер сгребал в кучи у подъездов. Ветер тянул с юго-востока, со стороны станции, и в его дыхании мне чудился запах нагретого металла. В такие вечера город затихал раньше обычного: редкие прохожие торопились по домам, гасили свет в окнах. Только новостройки на окраине светились дежурными огнями, да стройка за углом не умолкала до полуночи.

Я выходил на балкон — узкий, заставленный цветами в горшках. Отсюда был виден проспект Ленина, универмаг «Детский мир», стекляшка кафе «Фантазия». А за ними — чёрные трубы станции, освещённые снизу жёлтыми прожекторами. Город жил, дышал, строился. И в этом дыхании мне всё чаще слышался чужой, глубокий ритм.

Наша комната в общежитии Б-1 — типичная клетушка: железная койка, тумбочка, платяной шкаф с отколотой ручкой. На стене — выцветший календарь за прошлый год.

Сосед слева, Славка из третьего блока, храпит за фанерной перегородкой. Гулко, с присвистом. Иногда, когда я не сплю, он просыпается, стучит по перегородке: «Кравченко, ты там живой? Спать мешаешь». Я отвечаю: «Живой». Он ворчит: «Ну и ладно. А то прибегут утром — а ты синий». И снова храпит. Странный. Но свой.

Справа — тишина: комната пустует третью неделю, Лёшка уехал в Киев, сказал — на месяц, и пропал. Из Припяти люди часто уезжают, станция выматывает. Но чтобы совсем пропасть, такого не было.

Достаю из тумбочки общую тетрадь в коричневой клеёнчатой обложке. Купил в ноябре в универмаге с плотными листами, за 48 копеек. Тетрадь пахнет типографской краской и чуть-чуть — дешёвой тушью, которую я однажды пролил. Открываю, провожу пальцем по пустым страницам — они шершавые, почти как наждак.

Из кармана вынимаю старую зажигалку. «Зиппо», советская копия, тяжёлая, с потускневшей гравировкой: «*Аркадию от отца. 1975*». Отец подарил, когда я поступил в институт. Сказал: «Не потеряй. И себя не потеряй». Кручу зажигалку в пальцах — гладкий металл, нагретый теплом руки, — кладу рядом с тетрадью. Чтобы была под рукой.

Вентиляция за стеной гудит, за окном где-то лает собака. Обычный вечер. Но гул — нет, не в трубах. Гул везде. Слышу его даже сейчас, когда за окном тихо. Смена закончилась четыре часа назад. Пишу быстро, без черновиков.

Потом, уже дома, я переписываю эти записи набело. Восстанавливаю по памяти, по черновым клочкам, по журналам, которые удалось сохранить. Может, я ошибся в сотых. Но цифры примерно такие.

Мощность держалась на 3200 мегаваттах, давление в первом контуре — 165 атмосфер, температура теплоносителя — 287 градусов. Всё в пределах нормы. Но вибрация в юго-восточном квадрате... Датчики прыгали.

Я проверил трижды. Игла дёрнулась до 0.03 миллиметра — на сотую выше предела.

Начальник смены сказал: «Погрешность». Я записал в журнал. Он перечеркнёт — я знаю. Но я запомнил цифры.

Веду этот дневник, чтобы не забыть. На работе никто не слушает. Может, хоть бумага не врёт.

Записываю по памяти всё, что видел за смену:

22 апреля, вечер

Мощность — около 3200. Давление, температура — в пределах нормы. Вибрация в юго-восточном квадранте. Датчики прыгают. Проверил трижды. Игла дёрнулась выше предела. Начальник смены: «Погрешность». Я записал в журнал. Он перечеркнёт.

22 апреля, 21:40

Снова. Три удара, пауза, три удара. Как сердце. Я не мистик. Но записываю.

22 апреля, 23:10

Вибрация не стихает. Другие датчики молчат. Только этот.

Будто кто-то стучит изнутри.

23 апреля, 00:10. Вышел в коридор. У Елизаветы Павловны горел свет. Она сидела над радиометром, что-то записывала. Она посмотрела на меня и сказала: «Иди спать, товарищ Кравченко. Завтра будет новый день». Я спросил: «Вы что-то нашли?» Она не ответила. Закрывает дверь. Я постоял, послушал. Тишина. Потом снова гул.

«Смена с четырёх до полуночи. Проверка: параметры теплоносителя, давление в первом контуре, уровни мощности. В пределах нормы.

Вибрация. Уже две недели. Сегодня проверил датчики на отметке +8.30, юго-восток. Иглы прыгают. В пределах погрешности — формально всё чисто. Но я чувствую. Не так, как физик. Так, как человек, который стоит на бетонной плите, а под ней кто-то ворочается.

Скажу Виктору завтра. Он скажет: «Опять у тебя, Кравченко». Я не спорю. Но записываю.

Смотрю на эти строки и думаю: что, если я ошибаюсь? Что, если это просто нервы? Ира говорит, я стал раздражительным. Вчера накричал на неё из-за того, что она не выключила свет в коридоре. Сказал: «Ты экономь, а реактор жрёт мегаватты». Глупо.

Она тогда ничего не ответила. Взяла тряпку, вытерла стол, молча ушла на кухню. Я знаю, ей обидно. Но я боюсь, что если не буду кричать, то не справлюсь с комом в груди. Страх выходит наружу злостью.

Я пишу. Тетрадь шуршит. Чернила ложатся неровно — рука дрожит. В коридоре шаги. Медленные, но целенаправленные. Я узнаю их — старый Евдокимов, начальник лаборатории дозиметрии. Ему под шестьдесят, он ходит в тапках на босу ногу даже зимой, потому что «рабочие ботинки натирают мозоль, а в лаборатории каждая ранка — смерть». Смерть он говорит часто. Раньше я думал — чудак. Теперь — не знаю.

Он останавливается у моей двери. Короткий стук — и он уже заходит, не дожидаясь ответа.

— Не ложишься? — спрашивает, садясь на табуретку.

— Только со смены, — отвечаю. — А ты почему не спишь?

— Я тебя ждал, товарищ Кравченко. Он трёт переносицу усталым жестом. — Днём не поговорить — стены имеют уши. А завтра меня уже не будет. Хотел предупредить.

Он оглядывает комнату. Взгляд задерживается на фотографии Ирины, потом на часах. Стрелки застыли на 1:23. Часы стоят уже больше года. Ира просила завести, но я не решался. Почему-то мне казалось, что они показывают правильное время, которое ещё не наступило.

— Ты о чём? — спрашиваю я, закрывая тетрадь.

Евдокимов достаёт из кармана халата маленький чёрный прибор — самодельный радиометр, спаренный со старым военным индикатором.

— Сегодня мерил в подвале нашего общежития. Он кладёт прибор на стол. — Тридцать микрорентген. Норма — пятнадцать. И это не предел.

— Ты проверял на станции?

— Проверял. Тайком. Как и ты со своей вибрацией.

Он смотрит на меня. Глаза светлые, выцветшие, но смотрят как-то по-детски — испуганно и честно.

— Кравченко, — говорит. — Я работаю здесь с семьдесят седьмого. Я видел, как меняли трубы в первом блоке через три месяца после пуска. Как сбрасывали в бетон бракованные стержни, потому что «некуда девать». Я видел, как ввали в актах. И сейчас врут.

— О чём?

— О фоне. О вибрации. О всём. — Он забирает радиометр, прячет в карман. — Я уезжаю завтра. В Томск. К дочери. Сказал начальству — здоровье. Но здоровье у меня не хуже, чем вчера. Просто я боюсь. И ты бойся.

— Куда мне бежать? — спрашиваю я. — У меня жена. Работа. Мы только начали...

— Тогда смотри. Смотри на реактор не как инженер. Как на зверя. Зверь не прощает, когда его дразнят. А завтра — или послезавтра — его будут дразнить. Я слышал разговор.

— Какой разговор?

— Дятлова и Акимова. Сегодня, перед вечерней сменой. Я зашёл в коридор за курилкой, дверь в кабинет Дятлова была приоткрыта. Он понижает голос почти до шёпота. — Акимов держал в руках программу испытаний и говорил, что мощность нельзя снижать до двухсот мегаватт. Это опасно, реактор войдёт в нестабильный режим. Дятлов перебил его. Сказал: «Не вам решать. Программа утверждена, мы её выполним». И хлопнул папкой по столу. Я отошёл, чтобы не заметили.

— Ты уверен, что речь шла о снижении до двухсот?

— Абсолютно. Я слышал цифру. И видел лицо Акимова. Он был бледный.

Евдокимов встаёт. Идёт к двери. На пороге оборачивается.

— Я тебе ничего не говорил. Но когда начнётся — не стой под перекрытиями. И женщину свою вывези. Хоть в Киев. Хоть куда.

Дверь закрывается. Шаги в коридоре стихают.

Я закрываю дверь за Евдокимовым. Но сна нет. Я слышу, как его шаги стихают в коридоре, потом замолкают вовсе. Выхожу в коридор — пусто. Только лампочка под потолком мигает.

Не знаю, зачем я иду за ним. Может, хочу сказать что-то ещё. Может, просто чувствую, что вижу его в последний раз.

На улице уже свежо. Евдокимов стоит у подъезда, смотрит на станцию. Огни горят — сотни огней, как ёлка. Он даже не оборачивается, когда я подхожу.

— Провожаешь? — спрашивает.

— Не спится.

— А мне уже не до сна, — говорит он. Голос — не тот, что в комнате. Не испуганный, не таинственный. Усталый. — Ты знаешь, Кравченко, я ведь не всегда был дозиметристом. Я начинал на стройке. Дом культуры «Энергетик» возводил — тот, что на проспекте. Камни таскал, бетон месил.

Я молчу. Он продолжает, не глядя на меня.

— Я этот город строил. Каждый дом, каждую аллею. Сирень сажал вот здесь, у нашего подъезда, когда только заселились. А теперь я его бросаю.

— Ты не бросаешь, — говорю я, хотя сам не верю в эти слова. — Ты уезжаешь. К дочери. Это другое.

— Нет, Кравченко, это то же самое. — Он наконец поворачивается ко мне. Глаза — мокрые, но слёз нет. Может, они уже кончились. — Я боюсь. Не за себя — за неё. За дочку. За внуков, которых у меня пока нет. И за вот этот город. За людей, которые останутся. За тебя.

Он протягивает руку. Я пожимаю. Ладонь у него сухая, горячая.

— Будь осторожен, парень. И пиши. Всё, что видишь. Всё, что слышишь. Может, когда-нибудь это кому-то понадобится. Может, тебе самому — чтобы не сойти с ума.

Он уходит, не оглядываясь. А я стою у подъезда, смотрю на пустую улицу. Где-то за домами — станция. Где-то за горизонтом — Томск. А между ними — я. И гул. Он не стихает.

Я сижу. Смотрю на закрытую тетрадь. На фотографию Ирины. На часы. Они уже отбили половину первого. Я не ложусь.

Не сидится. Встаю, натягиваю брюки поверх пижамы и выхожу в коридор. Лампочка под потолком мигает, отбрасывая длинные тени на выцветший линолеум. Соседние двери закрыты — Славка храпит, из-под двери Лёшкиной комнаты не пробивается ни звука. Иду к лестнице, спускаюсь на первый этаж. В маленькой нише у вахты, под расписанием киносеансов и объявлением о субботнике, висит телефон-автомат. Старенький ТА-74, красный, с круглым металлическим диском. Рядом на верёвочке болтается засаленная трубка.

Достаю из кармана жетон — трёхкопеечный, с профилем Ленина. Кидаю в щель. Слышу, как монета проваливается с глухим стуком. Диск кручу медленно: ноль, четыре, два, восемь... Одесса. Потом — номер отца. В трубке щёлкает, начинаются длинные гудки. Между ними — далёкое шипение, будто тысяча километров проводов дрожит где-то в подземельях.

Трубку снимают после второго гудка. В шорохе помех слышу родной голос:

— Аллю?

— Пап, это я.

— Аркаша? — отец просыпается мгновенно, не спрашивает «почему так поздно», только выдыхает: — В чём дело?

— Всё в порядке, пап. Просто соскучился.

Отец молчит. Я слышу, как он зажигает спичку — знаю этот звук с детства: коробок чиркает, спичка вспыхивает, он глубоко затягивается, хотя мама запрещает курить в спальне.

— У вас там что-то стряслось? По радио молчат, но люди говорят...

— Что говорят?

— Всякое. — Он кашляет, приглушённо, в сторону. — Будто на станции неладное. Ты бы уезжал, сын. Времена нынче беспокойные. А вы с Иркочкой молоды, переведёшься в другой город. У нас тут в порту слышали...

— Не могу я уехать, пап. Работа. Ира не захочет.

— А я тебе как отец говорю: бойся. — Голос становится твёрже. — Я на флоте служил, знаю, когда техника начинает капризничать. Она не прощает. Не прощает, сын.

Он снова затягивается. Я слушаю его дыхание, и вдруг мне кажется, что, между нами, не просто провод, а целая пропасть, которую я никогда не смогу перейти.

— Всё будет хорошо, — говорю я. — Обещаю.

— Не обещай. — Отец вздыхает. — Просто будь осторожен. И Иру береги. У вас вся жизнь впереди.

— Хорошо.

— Я люблю тебя, сын. Ты это помни.

Трубка издаёт гудки. Я стою в полумраке, прижав её к уху, пока не слышу короткие сигналы. Потом вешаю на рычаг. Красные лампочки автомата мигают, остывают. Вахтёрша спит за стеклянной перегородкой, накрывшись пледом. Часы над её головой показывают 1:10.

Поворачиваюсь и иду обратно. Шаги гулко отдаются в пустой лестничной клетке. На втором этаже пахнет кислой капустой — кто-то из женщин поздно ужинает. На четвёртом сворачиваю в нашу комнату. Ира спит, поджав колени к животу, светловолосая, беззащитная. Сажусь на край койки, достаю блокнот. Пишу дрожащей рукой:

«Звонил отцу. Сказал, чтобы уезжали. Не послушался. Может, зря».

Смотрю на часы. 1:23. Вздрагиваю — почему именно это время? Выключаю свет. Но не сплю.

«Дятлов сказал Акимову: «Не вам решать». Завтра начнут снижать мощность до двухсот. Евдокимов уехал. Я остался».

Продолжаю.

Виктор — лаборант химцеха. После смены курили на крыльце БЩУ. Ветер с юго-востока, холодный. Я спросил: «Слышишь гул?» Он посмотрел на меня, выдохнул дым: «Ты бы спать пошёл, Кравченко».

Я пошёл. Но не спал. Стоял у окна, смотрел на станцию. Огни горели на всех этажах — ночные смены никогда не спят. Мне вдруг вспомнилось, как три года назад, вскоре после свадьбы, я привёл Иру на крышу нашего общежития и показал ей станцию. С того места были видны только корпуса, вентиляционные трубы, едва угадывался четвёртый блок. Она сказала: «Какой огромный механизм. Он живой». Тогда я засмеялся. Теперь не до смеха.

Дома Ира. Она спала, свет не гасила. Лежала на боку, волосы по подушке. Я постоял в дверях. Долго. Боялся пошевелиться — разбужу. А проснётся — спросит: «Что с тобой, Аркаша?» Не знаю, что отвечу.

В комнате тихо, только маятник часов не тикает — они же стоят. Ира дышит ровно. Во сне что-то шепчет — не разобрать. Снимаю куртку, вешаю на стул. На спинке висит её розовый халат, купленный в «Светлячке» в прошлом году. Пахнет стиральным порошком «Лотос» и чуть-чуть — её духами «Красная Москва». Самые дешёвые, но для меня они — как сирень.

Переворачиваю страницу. На полях — расчёты, которые я делал вчера на дежурстве. Потенциальная мощность при отключении двух насосов. Цифры не сходятся. Перечёркиваю.

Утром поссорились. Она сказала: «Я хочу ребёнка». Я сказал: «Боюсь». Она замолчала. Весь день молчала. Вечером резала морковь для супа, тоже молча. Я сел рядом. Молчали долго. Потом она сказала: «Я не сержусь. Я просто думаю, как тебе объяснить. Мне 26. Если не сейчас — то когда?» Я не нашёлся, что сказать.

В самом деле — что я мог ей ответить? Что у нас в блоках превышение радиации? Что у лаборантки выпадают волосы? Что по ночам я лежу и слушаю, как под нами кто-то ворочается?

Она не знает про вибрацию. Я не говорю.

Вспоминаю, как три дня назад мы ходили в кинотеатр «Прометей». Шёл какой-то советский фильм про строителей БАМа. Она всю дорогу держала меня за руку, а на обратном пути сказала: «Ты редко улыбаешься в последнее время». Я сказал, что устаю. Но я не уставал. Я боялся. Боялся, что открою рот и скажу: «Нам нужно уезжать». Куда? Зачем? Мы тут построили жизнь.

В прошлом месяце лаборантка Людмила из третьего блока носила дозиметр на поясе под халатом. Показала мне: в коридорах между блоками — 50 микрорентген в час. Норма — 15. Я сказал: «Ты бы не носила это при всех». Она сказала: «А ты бы не закрывал глаза». Через две недели у неё начали выпадать волосы. Перевели в прачечную, за десять километров. Слышал, уволилась. Может, врут.

Я сам не хочу об этом вспоминать. Но она стоит перед глазами — молодая, а лысеет. И её взгляд пустой, смотрит сквозь меня. Иногда ловлю себя на мысли, что она видела то, что нам ещё предстоит.

А я хочу ребёнка. Сам хочу. Боюсь, что не успею. Не знаю, что страшнее — родить здесь или не родить никогда.

Закрываю тетрадь, прячу под стопку лабораторных журналов. Тушу свет. Но в темноте не спится. Встаю, иду к окну. Напротив — девятиэтажка, многие окна ещё светятся. Кто-то смотрит телевизор, кто-то читает. Жизнь идёт. А мне кажется, что мы все плывём по течению, не замечая порога.

Перед тем как лечь, выглянул в коридор. Соседняя дверь была приоткрыта. Я увидел старуху — Елизавету Павловну. Она работала на станции с первого дня, в лаборатории. Ей под семьдесят, но она до сих пор носила белый халат. Я спросил: «Вы не спите?» Она поманила меня пальцем.

— Слышишь гул?

— Да.

— Он не в трубах. Он в реакторе. Я знаю. У меня есть данные, которые не показывают начальству. Она замолчала, потом добавила:

— Береги себя, парень. И ту, что тебя ждёт. Я хотел спросить подробнее, но она закрыла дверь. Возвращаюсь в комнату. Взгляд снова падает на часы — 1:23, как и всегда. Они не двигаются, но мне кажется, что время всё равно бежит. Смотрю на них, и у меня внутри всё холодеет. Почему-то кажется, что они отсчитывают не минуты, а что-то большее. Утром вахтёрша сказала, что старуха уехала «по срочному вызову» ещё затемно. Я больше никогда её не видел.

Ирина

23 апреля 1986 года, среда, утро

Пишу утром, пока Аркадий спит. Он мечется, бормочет что-то. Прислушиваюсь. «Кнопка... не успеваю...» — шепчет он. Я не бужу. Если захочет — расскажет сам.

А потом, пролистывая старые страницы, наткнулась на запись, которую сделала давно. Вот она, наша история. Я часто думаю о том, как мы встретились.

Это было в ДК «Энергетик» на танцах. Тогда ещё не было комсомольских свадёб, просто молодёжь собиралась по субботам. Я пришла с подружкой Галей, мы надели лучшие платья — у меня синее в горошек, чешские босоножки на пробке. Аркадий стоял у колонны с ребятами из третьего блока, все в белых рубашках, при галстуках — тогда было модно.

Он подошёл первым. Спросил: «Девушка, вы танцуете?» Я ответила: «Смотря кто приглашает». Он улыбнулся. У него были светлые волосы и очень серьёзные глаза — и эта серьёзность меня поразила. Обычные парни говорили о футболе, о машинах. Он спросил, что я думаю о будущем атомной энергетики. Я рассмеялась.

А потом заиграл медляк — кажется, песня «Надежда» Пахмутовой. Он взял меня за руку. Мы танцевали, и я чувствовала, как у него колотится сердце. Или это у меня.

После танцев он проводил меня до общежития Б-1. Мы шли по улице Дружбы Народов, мимо универсама, мимо кинотеатра «Прометей». Я рассказывала, что работаю в детском саду, люблю детей, мечтаю о большой семье. Он слушал, не перебивая.

У подъезда он сказал: «Продиктуйте номер телефона вашего сада. Я позвоню». Я продиктовала: «2-35-41» — номер вахты детского сада № 7. Он записал на спичечный коробок. Я подумала: не позвонит, куда там. Но на следующий день, после обеда, вахтёрша крикнула: «Ирина, к телефону!» Я подошла, взяла трубку. Его голос: «Идёт "Москва слезам не верит" в шесть. Я за вами зайду». И положил трубку. С тех пор я не сомневалась: он человек дела.

Через год мы поженились. Расписывались в ЗАГСе на улице Пушкина. Свидетелем был его друг Виктор. Гуляли в кафе «Припять» — тогда это было лучшее место в городе. Мне подарили чайный сервиз и хрустальную вазу. Мы танцевали под песню «Нежность».

Аркадий потом часто вспоминал: «Ты была в синем платье, с бантом, и я понял: это судьба».

Я закрываю глаза — и снова вижу тот день. 15 сентября 1984 года, ЗАГС на улице Пушкина. Утро было солнечным, жёлтые листья кружились над тротуаром. Я надела платье, которое шила три месяца — белое, с кружевным поясом, мама привезла ткань из Одессы.

Аркадий стоял у входа в военной форме — его отец настоял, чтобы сын был при параде.

В зале ЗАГСа нас встречали подруги Галя и Виктор — свидетель. Работница прочитала стандартную речь о «ячейке общества», но я не слушала. Я смотрела на Аркадия. Он улыбался, но глаза были серьёзные. Когда мы обменялись кольцами (его — золотое, тонкое, моё — чуть шире, с гравировкой внутри), он шепнул: «Я тебя не подведу».

Потом гуляли в кафе «Припять». Столы сдвинули, скатерти были белыми, на окнах — герань. Подарили хрустальную вазу (она разбилась через год, когда Аркадий чистил рыбу), чайный сервиз (стоит до сих пор у мамы в Одессе), деньги в конверте.

Виктор произнёс тост: «За любовь, которая сильнее реактора!» Все засмеялись. Аркадий тогда не засмеялся. Он посмотрел на меня и сказал тихо: «За нашу жизнь».

Первую ночь мы провели в этой же комнате — общежитие Б-1. Я постелила новые простыни, купленные в «Светлячке». Аркадий занёс меня на руках через порог, споткнулся о табуретку, и мы оба рассмеялись. Потом лежали в темноте, слушали, как Славка храпит за стенкой. Он обнял меня и сказал: «Я построю для нас дом. Не здесь — в городе. С балконом и садом». Я поверила. Я тогда верила во всё.

Но довольно о прошлом. Сегодняшнее утро.

Моя тетрадь — в розовой обёртке, подарили подруги на девичник. Внутри — рецепты (борщ по-польски, который я так и не приготовила), список покупок (масло, хлеб, спички), засушенный цветок сирени, сорванный в мае у Дворца культуры. И старая чашка с трещиной. Трещина появилась в день нашей первой ссоры — через месяц после свадьбы. Аркадий хотел выбросить чашку. Я сказала: «Не смей. Это наша память». С тех пор чашка стоит на полке, я пью из неё каждое утро.

Сегодня кладу тетрадь на стол, открываю на чистой странице и пишу одно предложение, которое вертелось с утра:

«Я хочу ребёнка, и я не боюсь даже того, о чём он молчит».

Потом перечитываю, зачёркиваю, пишу заново — уже не одним предложением, а как получается.

«Аркаша спит. Я сварила кофе, налила в чашку с трещиной. Села у окна. За окном — стройка, поднимают новый корпус. Город растёт. Я люблю этот город. Даже если в нём опасно.

Он не говорит, но я знаю: что-то не так. Вчера гладила его рабочую куртку и в кармане нашла дозиметр. Маленький, круглый, с красной шкалой. Стрелка застыла между зелёным и жёлтым. Я подержала, положила. Ничего не сказала.

Куртка висит в прихожей, рукава свисают. Я часто её трогаю, когда его нет. Пахнет бензином и машинным маслом. И чуть-чуть — потом. Мужским, родным.

В обед зашла в «Светлячок» — присмотреть коляску. Белую, с кружевами. Продавица, Зинаида Петровна, высокая женщина с седьми кудряшками, сказала: «Последнюю отдают. Уже несколько человек спрашивали, говорят, больше не завезут». Я попросила отложить до пятницы. Сказала, что приду с мужем.

Она вздохнула: «Удачи вам, молодая. Сейчас с колясками туго». Я заплатила задаток — двадцать рублей.

Смотрю в окно. За стеклом дети идут в школу. Город живёт своей жизнью. А я думаю: почему у меня такое чувство, что время уходит?

Вернулась домой. Аркаша ещё спал. Я села писать.

В нашей группе «Колокольчик» — 12 детей. Двое не пришли сегодня: у Серёжи температура и красные пятна на лице. Воспитательница из соседней группы, Валентина Ивановна, сказала: «Ветрянка». Но Серёжа болел ветрянкой два года назад. Я не стала спорить. Но внутри кольнуло — что-то здесь не так.

Близнецы Саша и Паша строят башню из кубиков. Башня падает, Саша плачет, Паша обнимает его: «Не плачь, я помогу». Я смотрю на них и думаю: хочу такого же. Хочу смотреть, как мой ребёнок спит — вот так же, как сейчас Аркаша. Беззаботно.

Дети идут на завтрак. Я помогаю нянечке раздавать кашу. Запах манки смешивается с запахом хлорки. Обычное утро. Но сегодня что-то не так. Не могу объяснить, что именно.

Потом занятия. Дети рисуют, я сижу рядом, поправляю карандаши. Близнецы сегодня спокойные, не ссорятся. Саша рисует дом, Паша — солнце.

После занятий — прогулка. На улице свежо, но дети бегают, играют в песочнице. Я смотрю на них и думаю о своём.

Возвращаемся в группу, я помогаю накрыть на стол к обеду. Дети едят суп, потом их укладывают спать. В тихий час я сажусь заполнять журнал.

После дневного сна — полдник. Я на кухне, разливаю компот. Яблоки пахнут свежестью, но в воздухе висит что-то металлическое, едва уловимое. Может, показалось. Дети уже сидят за столами, близнецы делят одно печенье на двоих.

После работы я всё же захожу на почту. Очередь — человек пять. Женщина передо мной отправляет посылку в Одессу. Беру бланк, пишу маме несколько строк: «Всё хорошо, работаем, скоро приедем». Не говорю ни про тревогу, ни про ссору.

Потом иду в аптеку на проспекте Ленина. Витрины пустоваты, но градусники есть. Покупаю — медицинский, с красной шкалой. И маленький календарик-карманник на 1986 год. Продавщица улыбается, но улыбка, кажется, натянутой.

— Для себя? — спрашивает.

— Да.

— Будьте здоровы.

Она отворачивается и кашляет — глухо, надрывно. В платке остаётся красное пятно. Я делаю вид, что не заметила.

Выхожу на улицу. Солнце садится. Аптеку уже закрывают, на дверях вешают табличку «Санитарный день». Продавщица кутается в платок и быстро идёт прочь.

Дома Аркадий ещё спит (у него ночная смена). Я сажусь рядом, глажу его по голове. Он вздрагивает, но не просыпается.

Вдруг — ни с того ни с сего — думаю: «А что, если субботы не будет?»

Мысль короткая, колючая. Я отгоняю её. Но она возвращается. Она вернётся ещё много раз.

Документальная вставка (архивная находка 2026 года)

Из газеты «Трибуна энергетика», 22 апреля 1986 года, стр. 2

«Энергоблок № 4 работает в штатном режиме. Коллективом смены инженера А.Ф. Акимова за первый квартал 1986 года достигнута выработка электроэнергии в 1,2 миллиарда киловатт-часов — на 3% выше планового задания. В честь 1 Мая коллектив АЭС взял социалистическое обязательство: обеспечить бесперебойную работу всех четырёх блоков в праздничные дни».

Из служебной записки о состоянии 4-го энергоблока (рассекречено в 2021 году):

«Хронология технологического процесса на 4-м энергоблоке ЧАЭС. 26 апреля 1986 года:
00:05 — начало снижения мощности реактора.

01:03 — мощность упала до 160 МВт.

01:23'41.5" — массовый разрыв трубопроводов в нижней части юго-восточного квадранта активной зоны.

01:23'46" — взрыв с выбросом активной зоны».

Глава 2

Аркадий

24 апреля 1986 года, четверг, день

Заступаю на смену в четыре, но прихожу раньше — в половине третьего. Люблю посидеть в операторской перед началом, один, без разговоров. Наливаю чай из титана — он здесь всегда горячий, с налётом накипи на стенках кружки.

Сегодня в блоке шумно. Готовятся к завтрашнему — будут снижать мощность, проверять турбогенератор. Я слышал в курилке: что-то насчёт «выбега ротора», какой-то эксперимент. Дятлов, говорят, лично руководит. Я не вникаю. У меня своя работа.

Сажусь за пульт, открываю журнал. Показатели за ночь — в норме. Кроме вибрации. Она никуда не делась.

Виктор появляется в половине четвёртого с двумя стаканами чая в железных подстаканниках.

— Держи. С сахаром, как ты любишь.

— Спасибо.

Он садится рядом, оглядывается по сторонам — проверяет, не подслушивает ли кто.

— Слышал про завтра? Будем мощность почти в ноль глушить. Говорят, Дятлов настоял.

— Акимов не хотел? — спрашиваю.

— Акимов всегда не хочет. Он пьёт чай, громко прихлёбывая. — Но делают по-другому.

Я молчу. Думаю о вибрации. О том, что реактор сейчас не спит. А завтра его будут дразнить снижением мощности.

— Слышишь гул? — спрашиваю.

Он прислушивается. В операторской — обычный шум: вентиляция, гудение приборов, где-то далеко удары молотка. Но я слышу этот низкий, ровный звук. Он идёт отовсюду.

— Нормально всё. Ёлки-палки, у тебя паранойя, Кравченко.

— Может быть.

Допиваю чай, достаю маленький чёрный блокнот — всегда ношу в кармане.

«24 апреля, смена началась.

Всё вроде в норме. Но вибрация сильнее.

Начальник смены отмахнулся: «Товарищ Кравченко, не отвлекайтесь»

А я смотрю на записи за прошлые дни. 22 апреля — вибрация. 23 апреля — вибрация. Сегодня — снова. Кажется, я схожу с ума.

Завтра с полуночи будут снижать мощность. Говорят, до двухсот. Зачем так низко? Я инженер, а не начальник.

В обед я ходил в столовую. Столовая второго блока помещалась в подвальном помещении: низкие своды, запах пережаренного масла и хлорки, длинные алюминиевые столы. В углу — титан с кипятком, рядом стопка алюминиевых кружек. Сегодня на обед давали гречку с котлетой и компот из сухофруктов. Я взял поднос, сел у окна — точнее, у забранного сеткой прямоугольника, выходящего во внутренний двор.

Там очередь из людей в синих халатах. Обсуждают выходные. Кто-то едет в Киев, кто-то на рыбалку. Я подумал: в субботу мы с Ирой тоже куда-нибудь поедем. За коляской. Белой, с кружевами.

Перед глазами встает её улыбка. Вчера вечером, когда я согласился на ребёнка, она улыбнулась и сказала: «Я знала, что ты не откажешься». Тогда я не понял, что она имела в виду. Теперь, наверное, понял.

В столовой я замечаю её случайно. Людмила сидела через два стола от меня. Её косынка сползла на затылок, открывая редкие светлые волосы, похожие на кукольные. Вокруг неё — пустота: никто не решался сесть рядом, будто боялись заразы. Напротив неё, через проход, двое инженеров перешёптывались, косясь в её сторону. Их голоса я разобрал позже, когда подошёл поближе. Перед ней — тарелка с гречкой и котлетой, но она не ест. Сидит, уставившись в стену, и машинально гладит себя по голове — там, где ещё недавно были волосы.

Я подхожу. В прошлом месяце мы разговаривали с ней в коридоре — она показывала дозиметр, надетый под халат, и говорила про фон за пятьдесят микрорентген. Теперь она боится даже смотреть на меня.

— Люда, — говорю тихо. — Как ты?

Она поднимает глаза. Жёлтые белки, как у старого человека. Хотя ей нет и тридцати.

— Ты не узнал меня, Кравченко? — Голос сухой, ровный, как у робота. — Я сама себя не узнаю. Вчера мылась — волосы лезут клоками. Смотрю в зеркало — а там чужое лицо. Бледное, как у покойницы.

— Врачи что говорят?

— А что врачи? — Она усмехается, но смех выходит страшным — без звука, только уголки губ дёргаются. Говорят: «нервы», «авитаминоз», «не выдумывайте». Я принесла дозиметр, показала — пятьдесят микрорентген в коридорах между блоками. Мне сказали: «Это погрешность. Не сейте панику».

— Тебя перевели?

— Перевели. В прачечную. Сказали — «для вашей же безопасности». Но я знаю правду: начальству не нужны свидетели. А я свидетель. И ты свидетель, Кравченко. Смотри, чтобы тебя тоже не спрятали.

Она встает, подхватывает поднос. Не сдает — просто ставит на соседний стол и идёт к выходу. На ходу оправляет косынку — я вижу её затылок: кожа в красных пятнах, как после ожога.

— Ты увольняешься? — кричу ей вслед.

— Уже уволилась. — Она останавливается в дверях, оборачивается. — Сегодня последний день. Уезжаю в Киев. К матери. Сказала — работу найду. Только бы выжить.

И уходит. Я смотрю на пустую дверь. В столовой гулко гремит посуда, кто-то смеётся, обсуждая выходные. Никто не обратил внимания. Никто не спросил, почему женщина в косынке уходит навсегда.

Рядом двое инженеров спорили о странных болезнях. Говорили тихо, оглядываясь по сторонам — не дай бог кто услышит и донесёт начальству.

— У моего соседа сын в больнице. Говорят, анализы плохие. Что-то с кровью.

— А у меня дочка кашляет кровью. Врачи разводят руками.

— Может, вода плохая?

— Может, воздух? Говорят, на станции что-то неладно.

Я молчал. Но думал: они правы. И никто не слушает. Я доел, отнес поднос с грязной посудой и вышел. Надо было идти в машинный зал. Но в голове всё ещё звучал их шёпот.

После смены куплю сирень. Скажу: «Давай родим ребёнка».

Прячу блокнот, встаю. Иду в машинный зал — туда, где гул громче всего. В воздухе — запах горячего металла и озона. *Турбины работают ровно, но внизу*, где бетон сходится со стенами, я слышу это: *три удара, пауза, три удара*. Как сердце.

Я кладу ладонь на бетон. Он холодный, но я чувствую мелкую вибрацию — как будто что-то большое перекачивается под нами.

— Ты чего, Кравченко? — окликает электрик, молодой парень с рыжими усами.

— Проверяю.

— Проверь. Только без фанатизма.

Он уходит, посвистывая. Я остаюсь один. Достāju дозиметр — стрелка застыла между зелёным и жёлтым. 20 микрорентген.

Из-за турбины выходит Виктор. За последние дни он похудел, под глазами круги — видно, что не спит. В руках — телефонная трубка, которую он только что положил. Но соединение не прервалось — из мембраны доносится далёкий женский плач.

— Это ты? — спрашиваю.

— Жена звонила. — Он садится на корточки, прислоняется спиной к бетонной стене. — Говорит: «Витя, увольняйся. Уезжаем. Я слышала по радио про какие-то учения, но люди в очереди говорят другое». И плачет.

— А ты что?

— А я что? Я — как ты. Сказал: «Оля, не выдумывай. Всё будет хорошо». Но голос у меня дрожал. Она услышала. Сказала: «Ты врешь. Я по голосу чую». И тогда я... не знаю, Кравченко. Я впервые не нашёлся, что ответить.

Он замолкает. Смотрит на турбину. Она гудит ровно, мерно. Гул успокаивает. Или наоборот — нагоняет тоску.

— Я тебе завидую, — говорит он вдруг. — У тебя нет детей. А у меня двое. Сыновья в садик ходят. В тот самый, где твоя жена работает. Близнецы — Саша и Паша. И я думаю каждый день: что с ними будет? Если что-то случится?

— Ничего не случится, — говорю я. — Успокоятся начальники, мы проведём испытания, и будем жить дальше.

— Ты сам в это веришь?

Я молчу. Потому что не верю. Ни во что. Кроме вибрации. Она растёт. Я чувствую её даже сейчас, через бетон, через подошвы ботинок. А мы сидим на корточках и говорим о жизни, которой, может быть, уже нет.

— Знаешь, что жена сказала? — Виктор поднимает на меня глаза. В них — тоска и злость одновременно.

— Витя, если ты не вернёшься, я не прощу тебя. Не за смерть — за то, что бросил нас одних». Вот так. Не прощу. За то, что умру.

Встаёт, отряхивает халат. Идёт к выходу из машинного зала.

— Пойдём, Кравченко. Работа не ждёт.

Я иду за ним. В операторской тихо. Дятлов уже на месте, склонился над пультом, что-то показывает Акимову. Акимов кивает, но лицо у него белое, как мел.

Сажусь на своё место. Открываю журнал. Пишу:

24 апреля, поздно.

Датчики зашкаливают. Выход за допуск.

Написал в журнале: «Рекомендую остановить снижение».

Акимов потом перечеркнёт. Викторана жена плакала по телефону. Не знаю, что страшнее — плач или тишина.

Дописываю:

«Гул не утихает. Приборы показывают норму. Но я не верю приборам. Вечером позвоню Ире. Скажу, что люблю. На всякий случай. Потому что никогда не знаешь, какой день — последний.»

«Ночная смена. Операторская 4-го блока.

Пусть видят. Пусть потом говорят — паникёр. Но я записываю.

Мощность снижают. Давление, температура — вроде в норме. А вибрация... Иглы прыгают чаще.

Акимов заглянул через плечо, подчеркнул цифру, написал на полях: «Погрешность прибора». И вышел. Я не стёр.

Был в машинном зале. Гул изменился — стал ровным, глухим. Приложил ухо к бетону. Слышу дрожь. Троичными толчками. Вернулся. Виктор спит на пульте. Дятлов ходит между рядами, голос командирский.

Снова проверил датчики — зашкаливают. Написал в журнале: «Рекомендую остановить снижение». Перечеркнул. Я знаю.

00:00. Началось.

Смотрю на цифры. Пальцы немеют. Не от холода.

Я закрываю блокнот. Прячу в карман. Иду в туалет, мою лицо холодной водой. Смотрю в зеркало. Там — чужой человек. Бледный, с красными глазами. Я не узнаю себя.

Евдокимов уехал сегодня днём. В его лаборатории теперь сидит молодая девушка в новом халате. Она улыбается, пьёт чай с печеньем. Спросила меня: «Вы чего такой хмурый? Скоро Первомай». Я не ответил.

Ирина

24 апреля 1986 года, четверг, утро

После завтрака, когда Аркадий ушёл на работу, я спустилась в вестибюль общежития. Телефон-автомат — красный, с круглым диском, на стене под расписанием киносеансов. Набрала номер мамы в Одессу. Долго шли гудки.

— Алло? — голос сонный, мама только встала.

— Мам, это я.

— Ира? Что случилось? Ты так рано...

— Ничего не случилось. Просто... хотела сказать. Аркадий согласился на ребёнка.

Пауза. Слышно, как мама зажигает газ на кухне, ставит чайник.

— Ну, слава богу, — говорит она. — А то я уж думала — он вообще против.

— Он боится.

— Чего боится?

— Не говорит. Но я знаю. На станции что-то неладно. Он возвращается поздно, злой. Ест плохо. А вчера я нашла у него в кармане дозиметр.

Мама молчит. Долго. Потом:

— А ты не думала уехать? В Одессу? Ко мне?

— У него работа. И у меня.

— Работа... — Мама вздыхает. — Ирка, вы же не в Сибири. Переведётся. А тут... я по телевизору слышала про «мирный атом». Они всегда так говорят перед тем, как что-то случится.

— Мам, ты всё паникуешь.

— Я мать. Это другое. — Она помолчала. — Ладно. Если ребёнок — я приеду. Помогу. Но ты береги себя.

— Хорошо.

— Ира...

— Что?

— Ты его любишь?

Я смотрю в запотевшее стекло окна. На улице уже тепло, тополя распустились. Где-то бежит мальчишка с портфелем, опаздывает в школу.

— Люблю, — говорю. — Сильнее, чем боюсь.

— Тогда всё будет хорошо. Материнское сердце чувствует.

Мы прощаемся. Я вешаю трубку, но долго стою, прижавшись лбом к холодному стеклу. Запах пластмассы, асфальта и первых листьев. В голове: «Материнское сердце чувствует». А что оно чувствует сейчас — моё, ещё не материнское, а только ждущее?

Прихожу в половине восьмого. В группе уже шумно — близнецы строят железную дорогу, девочки играют в куклы. Я села на корточки рядом со столиком, где Саша рисовал. Он сосредоточенно выводил коричневым фломастером дом — квадрат, треугольную крышу, окошко. Рядом с домом он нарисовал солнце — жёлтый круг с лучиками. А потом, ни с того ни с сего, дорисовал чёрную линию, падающую с солнца прямо на крышу.

— Саша, что это? — спросила я.

Он поднял на меня свои серые глаза и сказал:

— Солнце упало. Я замерла.

— Почему солнце упало?

— Оно заболело, — ответил он и переключился на другой листок.

Воспитательница Валентина Ивановна подошла, взяла рисунок, посмотрела и нахмурилась.

— Дети иногда такое рисуют, — сказала она негромко. — Не обращай внимания.

Но я не могла забыть. Весь день этот рисунок стоял перед глазами: чёрная линия, падающая с неба. В обед, когда дети уснули, я достала тетрадь и записала: *«Саша сказал, что солнце упало. Может, это из-за того, что в городе всё болеет? Или он что-то видел по телевизору?»* Я не знала. Но внутри заскребло.

Вешаю пальто, проверяю список: сегодня 10 детей из 12. Серёжи нет (всё ещё температура), и Леночка заболела — мать звонила, сказала, что у неё сыпь на спине.

— Что-то много больных, — говорит Вера Сергеевна, старшая воспитательница. — И всё с температурой, с пятнами.

— Может, эпидемия, — отвечаю, хотя думаю иначе.

Вера Сергеевна сегодня какая-то не в духе. Садится рядом, понижает голос:

— Ты слышала, что говорят в городе? У знакомых муж на станции работал, так он рассказывал — там что-то неладно. Всю ночь гудело, а к утру приехало много начальников. Какие-то испытания. Но люди боятся.

— Чего боятся? — спрашиваю.

— Не знаю. В воздухе пахнет чем-то странным, металлом. Я сама ничего не чувствую. А ты?

— Не знаю, — я пожимаю плечами. — Может, показалось. Вчера вечером, когда шла домой, вроде бы что-то такое... Но, может, ветер с завода.

— Вот и я думаю, — Вера Сергеевна вздыхает. — Но детей жалко. Столько болеют. Неужели всё совпадение?

В группе дети уже проснулись, близнецы делятся вагончиками. Саша говорит Паше: «Ты бери синий, а я красный». Мирно. Я смотрю на них и стараюсь не думать о странном запахе.

«Четверг, утро. В группе шумно. Саша и Паша поссорились из-за паровоза, потом помирились. Я смотрела на них и думала: вот так и мы с Аркадием. Поссорились — помирились. Теперь жду субботы.

Коляска в «Светлячке» меня ждёт. Белая, с кружевками. Имя придумала: если мальчик — Аркадий, если девочка — пусть будет похожа на меня.

Когда дети уснули в тихий час, я отпросилась у Веры Сергеевны и вышла в аптеку — хотела спросить про витамины. Аптека закрыта. На дверях табличка «Санитарный день». Странно, ведь санитарный день обычно по средам. Сегодня четверг. Я вспомнила ту продащицу, которая кашляла кровью. Может, заболела. Может, закрыли из-за неё. За стёклами темно. Обычно здесь всегда горит свет. Сегодня нет.

В группе начинается полдник. Дети пьют компот — сегодня яблочный, с корицей. Запах корицы смешивается с запахом хлорки. Я наливаю каждому в кружку. Близнецы помогают друг другу застегнуть пуговицы на куртках после сна — трогательная возня.

После работы зайду на почту — отправлю письмо маме. Напишу, что у нас всё хорошо. Что суббота будет счастливым днём. Я хочу в это верить. Потому что если не верить — то зачем всё это? Я люблю свой сад. Я люблю Аркадия. Если это — последний спокойный день, пусть он запомнится.

Закрываю тетрадь, иду на кухню. Дети уже сидят за столами. Щемит. И не знаю — предчувствие или усталость.

Пока я заполняла на почте бланк, в очереди за моей спиной перешёптывались две женщины. Одна — в ситцевом платье, с рыжими выцветшими волосами, другая — в строгом костюме, наверное, из горисполкома.

— Моему мужу сказали срочно ехать на станцию сегодня вечером, — шептала первая. — Какие-то испытания. Он говорит, боится.

— А мой вчера вернулся под утро, — отвечала вторая. — Глаза красные, трясётся. Я спросила, что случилось, а он: «Не спрашивай. И не вздумай никому рассказывать».

Я обернулась. Женщина в ситцевом перехватила мой взгляд и спросила:

— Ваш тоже на станции?

— Инженер. На четвёртом блоке.

Она кивнула, понимающе.

— Я Нина. А вас как зовут?

— Ирина.

Мы обменялись быстрым взглядом — тем особенным взглядом, когда не нужно слов. Она взяла меня за руку — ладонь была горячей и влажной.

— Звоните, если что. Я живу в соседнем подъезде. Она черкнула размашисто номер телефона. Я сжала в руке письмо маме и подумала: «А напишу-ка я ей правду». Но не написала. Нельзя. Никому нельзя.

Документальная вставка

Из служебной записки о подготовке к испытаниям на 4-м энергоблоке (25 апреля 1986 года):

«В соответствии с программой испытаний турбогенератора № 8, намечено снижение мощности реактора 4-го блока до 700 МВт с последующим выходом на 200 МВт. Проверка системы аварийного охлаждения реактора (САОР) в режиме "выбега ротора". Ответственный — заместитель главного инженера А.С. Дятлов. Начало — 25 апреля 1986 года, 00:00».

Из интервью оператора 4-го блока (2006 год): «Я запомнил этот гул. Я его и сейчас слышу, через 20 лет».

Глава 3

*Программа первомайской демонстрации в Припяти (выдержка из агитбюро):
«Колонны демонстрантов проходят по проспекту Ленина. Приветствуем героических энергетиков, досрочно выполнивших план! Слава КПСС!»*

Аркадий

25 апреля 1986 года, пятница, вечер

Заступаю на смену в восемь. На душе скребёт. Сегодня всё по-другому. В блоке тихо, но это не та тишина, когда всё работает как часы. Это тишина перед бурей.

В раздевалке я переодеваюсь медленнее обычного. Вешаю куртку на крючок, поправляю ремень. Перед глазами — лицо Ирины сегодня утром. Она улыбалась, провожая меня. Сказала: «Удачи». Я не ответил. Просто кивнул.

Виктор уже за пультом, пьёт чай. Кивает мне.

— Сегодня будут мощность до двухсот сбрасывать, — говорит он. — Эксперимент.

— Слышал.

— Дятлов, говорят, сам на пульте стоит.

Виктор оглядывается, понижает голос:

— Акимов пытался перенести испытания, но Дятлов настоял. Говорят, у них стычка была вчера вечером.

Я молчу. Акимов — грамотный инженер, опытный. Если он против, значит, есть риск.

— Акимов знает, что делает, — отвечаю я уклончиво.

— Знает. Только начальство не слушает, — вздыхает Виктор. — Ладно, твоё дело — за реактором следить, а не политику разводить.

Я не отвечаю. Сажусь за свой пульт, пробегаю глазами показатели. Мощность уже снижают — с двух тысяч до семисот. Давление в норме, температура тоже. Вибрация. Она никуда не делась. Проверяю датчики в юго-восточном квадранте — иглы прыгают чаще, чем вчера.

Рядом, за соседним пультом, молодой оператор нервничает. Перекладывает ручку с места на место.

— Ты чего? — спрашиваю.

— Да так. Испытаний боюсь.

— Бояться нечего. Делай, что говорят.

Но сам я боюсь. Не за себя. За Иру. За всех, кто останется, если что-то пойдёт не так.

Начальник смены подходит, смотрит через плечо.

— Что там у тебя, Кравченко?

— Вибрация выше нормы.

— Выше нормы? — он наклоняется к приборам. — Я не вижу отклонений. Работай.

— Но датчики...

— Датчики в порядке, — отрезает он. — У нас испытания. Не забивай голову.

Он уходит. Я сжимаю зубы. Достаю блокнот.

«25 апреля, вечер.

Начальник смены не слушает. Говорит — датчики в порядке. А иглы прыгают. Я же вижу.

Виктор советует: «Ты своё дело делай». С полуночи снижение до двухсот.

Если всё будет хорошо — вырву эти страницы. Если нет... (далее строка зачёркнута, неразборчиво)

Перед сменой Ира звонила на станцию — из автомата в вестибюле общежития. Я слышал шум улицы в трубке, чьи-то голоса. Спросила: «Ты скоро вернёшься?» Я сказал: «В субботу». Пауза. «Я купила градусник, буду ждать». Что она имела в виду? Я не спросил. Не хотел показывать, что не понимаю.

Я не сказал ей, что боюсь. Только: «Я люблю тебя». И положил трубку. Потому что, если что-то случится — я хочу, чтобы это были последние слова.

Встаю, иду в машинный зал. Там гул сильнее, чем вчера. Лампы горят тускло, в воздухе пахнет озоном и горячей смазкой. Прикладываю ладонь к стене — вибрация чувствуется даже сквозь бетон. Бетон дрожит мелко-мелко, как от работающего насоса, но насосы здесь не работают. Мне кажется, что всё здание дышит.

Смотрю на часы. 21:15. До полуночи — меньше трёх часов. До начала испытаний.

— Долго ещё? — окликает Виктор из-за спины.

— Не знаю. Может, до утра.

— Держись, Кравченко. Скоро испытания закончатся.

Возвращаюсь в операторскую. Сажусь. Дописываю в блокноте:

«Виктор сказал — держись. Скоро испытания закончатся. Ира, я тебя люблю. Если завтра всё будет хорошо — мы поедим за коляской. Если нет... пусть эти строки останутся. Хотя бы они.

Прячу блокнот. В операторской тишина. Я смотрю на пульт, на показатели, и жду.

25 апреля, 20:00. Заступил на смену. Мощность — 1600 МВт, снижают для испытаний. Давление — 160 атм, температура — 283°C. Всё в графике.

Вибрация. Датчики юго-восточного квадранта: +0.04 мм. Вчера было +0.03. Растёт. Записал в журнал. Начальник смены глянул, сказал: «Не отвлекайся на ерунду».

25 апреля, 21:30. Мощность упала до 1000 МВт. Давление — 155 атм. Температура — 279°C. Реактор остывает быстрее обычного. Я проверил параметры. Всё в пределах, но скорость настораживает. Дятлов лично ходит по операторской, отдаёт команды. Акимов за своим пультом, бледный.

25 апреля, 22:45. Мощность — 700 МВт. Давление — 145 атм. Температура — 270°C. Вибрация +0.05 мм. Выход за допуск. Я написал в журнале красным карандашом: «Требуется остановка снижения». Начальник смены прочитал, перечеркнул и написал: «Продолжать».

25 апреля, 23:50. Мощность — 200 МВт. Давление — 130 атм. Температура — 260°C. Реактор в режиме, которого никогда не было в инструкции.

Я пошёл в машинный зал. Гул изменился: стал ниже, глубже, будто стонет бетон. Приложил ладонь к стене — мелкая дрожь. Вернулся. Дятлов что-то доказывает Акимову. Акимов качает головой, но сдаётся.

«00:10. Мощность упала ниже регламента. Давление падает. Записал в журнале: «Аварийный режим. Немедленная остановка».

Акимов прочитал, посмотрел на меня. Я отвел взгляд. Он ничего не сказал.

01:00. Всё то же. Давление падает. Вибрация зашкаливает. Перестал писать в журнал — бесполезно. Пишу сюда.

01:10. Акимов подошёл, сказал тихо: «Кравченко, твои записи... спрячь. Могут пригодиться, товарищ Кравченко». Кивнул. Он отошёл.

Я сжал блокнот в кармане и замер. Я смотрю на пульт. За ним — Акимов. Он сидит, сгорбившись, обхватив голову руками. Такого я его ещё не видел. Обычно Акимов — собранный, подтянутый, голос ровный, как у диктора радио. А сейчас он похож на человека, которого только что вынули из-под прессы.

Решаю подойти. Не как подчинённый — как человек.

— Александр Фёдорович, — говорю тихо, чтобы никто из операторов не услышал. — Всё в порядке?

Он поднимает голову. Глаза красные, не то от бессонницы, не то от слёз. Я не знаю, плачут ли начальники смен. Наверное, да. Просто никто не видит.

— Кравченко, — говорит он. Голос сухой, вымученный. — Ты что, тоже сомневаешься?

— Я записываю вибрацию. Уже который день. Датчики в юго-восточном квадранте прыгают.

— Знаю. — Он тяжело вздыхает. — Знаю я про твою вибрацию. И не только я.

Он достаёт из кармана халата помятую пачку «Космоса», выбивает сигарету. Спички не слушаются, ломаются одна за другой. Я протягиваю свою зажигалку. Он щёлкает, прикуривает, затягивается глубоко, до хрипа.

— Что происходит? — спрашиваю. — Правду говорят, что эксперимент опасный?

— Правду? — Он усмехается, но смех выходит горьким. — Правду, товарищ Кравченко, никто не говорит. Никто не имеет права. Я сегодня в четырнадцать ноль-ноль докладывал Дятлову о состоянии блока. Он сбивчиво, с паузами, почти шёпотом выкладывает то, что видит. — Мощность мы снизили. Уровни в норме. Но реактор — он, как больной. В нём накопился ксенон, он отравлен. Если мы уроним мощность слишком низко, он может... погаснуть. А завести его заново — это часы, если не сутки. Испытания сорвутся.

— И что Дятлов?

— Он сказал: «Не вам решать. Программа утверждена, мы её выполним». Акимов стряхивает пепел прямо на пол — такого я за ним никогда не замечал. Он всегда был аккуратистом. — Я пытался возражать. Говорил, что 200 мегаватт — это ниже всякого регламента. Что реактор в таком режиме никогда не работал. А он...

Он замолкает. Сигарета догорает почти до фильтра, он не замечает.

— А он сказал: «Акимов, вы что, боитесь? Двадцатый съезд партии требует ускорения научно-технического прогресса». Вы представляете? Цитату из съезда — в ответ на технические доводы.

Я молчу. Что я могу сказать? Что он прав? Я инженер, а не политик.

— Дятлов хочет, чтобы реактор работал на двухстах мегаваттах. Не больше, не меньше. Для этого нужно вывести из зоны почти все стержни. Оставить штук двенадцать-пятнадцать, когда регламент требует тридцать минимум, — продолжает Акимов, глядя куда-то в пол, будто говорит сам с собой.

— Я говорю: опасно. Он говорит: выполняйте. Кто я после этого? Начальник смены или...

Он не договаривает. Закрывает лицо ладонями. Сидит так долго, секунд десять. Потом резко встаёт.

— Завтра в час двадцать три начнётся эксперимент, — говорит он, уже не глядя на меня. — У тебя ночная смена, Кравченко?

— С полуночи до восьми, — отвечаю.

— Хорошо. Смотри в оба. Если что — твои записи могут пригодиться. Не мне — я, может, не выживу. Но тем, кто будет разбираться после.

Он поворачивается и уходит в операторскую, не оглядываясь.

А я стою в коридоре, смотрю на закрытую дверь и чувствую, как внутри холодеет. «Не мне — я, может, не выживу». Он знает, на что идёт. Но всё равно идёт.

Историческая справка. Кнопка АЗ-5 (аварийная защита) была нажата в 01:23:40

Ирина

25 апреля 1986 года, пятница, утро

Просыпаюсь от того, что за окном сигналит машина. Гляжу — на улице «скорая» промчалась. Раньше их не было слышно.

Аркадия рядом нет. На тумбочке записка: *«Ира, я люблю тебя. До субботы»*. Я улыбаюсь и кладу записку в тетрадь.

Встаю, иду на кухню. Ставлю чайник. Достая градусник — красный, с узкой шкалой. Меряю температуру (говорят, что базальную лучше утром, ещё в постели). 36.7. Записываю в календарик, который привязала к холодильнику ниткой.

Сегодня решила пройтись до работы пешком. На проспекте Ленина очередь у хлебного магазина. Раньше такой не было. Две женщины в очереди переговариваются:

— Говорят, на станции что-то готовят. Учения какие-то.

— Учения? А почему тогда «скорые» по городу носятся?

— Мало ли.

Я прохожу мимо. Сама не знаю, что думать.

В саду сегодня 9 детей. Серёжи нет, и ещё двое не пришли. Вера Сергеевна встречает меня в коридоре.

— Ирина, ты слышала? В поликлинике очередь из родителей. Дети всё болеют и болеют, а врачи разводят руками. Говорят, аллергия.

— Может, действительно аллергия? — я пожимаю плечами.

— Не знаю. Всё странно.

В группе близнецы сегодня спокойные. Сидят рядом, не ссорятся. Саша рисует дом, Паша — небо. Я смотрю на них — и сердце замирает. Такие маленькие, а уже так много болеют.

После обеда я спускаюсь к автомату на первом этаже общежития, бросаю жетон и набираю номер станции. Долго жду. Потом щелчок, голос: «Слушаю».

— Аркаш, ты как?

— Нормально, Ир.

— У тебя голос... не такой.

— Устал. Смена длинная.

— Ты врешь.

— Может быть. — В трубке пауза. — Но ты не волнуйся.

— А я и не волнуюсь, — говорю я, хотя волнуюсь.

— Тогда ладно. Завтра вернусь.

— Ты обещал коляску.

— Обещал. Поедем.

— Я люблю тебя, Аркаша.

— Я тебя тоже, Ира. Всё будет хорошо. Кладём трубки.

Я возвращаюсь в группу. Дети уже пьют кисель — сегодня вишнёвый, густой. Запах ягод смешивается с запахом мыла — мыли руки перед полдником. Я разливаю каждому в кружку. Дети пьют, улыбаются. Хоть что-то нормальное в этом странном дне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.